

Царь-рыба

В поселке Чуш его звали вежливо и чуть заискивающе – Игнатъичем. Был он старшим братом Командора и как к брату, так и ко всем остальным чушанцам относился с некой долей снисходительности и превосходства, которого, впрочем, не выказывал, от людей не отворачивался, напротив, ко всем был внимателен, любому приходил на помощь, если таковая требовалась, и, конечно, не уподоблялся брату, при дележе добычи не крохоборничал.

Правда, ему и делиться не надо было. Он везде и всюду обходился своими силами, но был родом здешний – сибиряк – и природой самой приучен почитать «опчество», считаться с ним, не раздражать его, однако шапку при этом лишка не ломать, или, как здесь объясняются, не давать себе на ноги топор ронять. Работал он на местной пилораме наладчиком пил и станков, однако все люди подряд, что на производстве, что в поселке, единодушно именовали его механиком.

И был он посноровистей иного механика, любил поковыряться в новой технике, особенно в незнакомой, дабы постигнуть ее существо. Сотни раз наблюдалась такая картина: плывет по Енисею лодка сама собой, на ней дергает шнур и лается на весь белый свет хозяин, измазанный сажей, автолом, насосавшийся бензина до того, что высеки искру – и у него огонь во рту вспыхнет. Да нет ее, искры-то, и мотор никаких звуков не издает. Глядь, издали несется дюралька, задрав нос, чистенькая, сверкающая голубой и белой краской, мотор не трещит, не верещит, поет свою песню довольным, звенящим голоском – флейта, сладкозвучный музыкальный инструмент, да и только! И хозяин под стать своей лодке: прибранный, рыбьей слизью не измазанный, мазутом не пахнущий. Если летом, едет в бежевой рубашке, в багажнике у него фартук прорезиненный и рукавицы-верхонки. Осенью в телогрейке рыбачит Игнатъич и в плаще, не изожженном от костров, не изляпанном – он не будет о свою одежду руки вытирать, для этого старая тряпица имеется, и не обгорит он по пьянке у огня, потому что пьет с умом, и лицо у Игнатъича цветущее, с постоянным румянцем на круто выступающих подглазьях и чуть впалых щеках. Стрижен Игнатъич под бокс, коротко и ладно. Руки у него без трещин и царапин, хоть и с режущими инструментами дело имеет, на руках и переносице редкие пятнышки уже отлинявших веснушек.

Никогда и никого не унизит Игнатъич вопросом: «Ну, что у тебя, рыбачок, едрена мать?» Он перелезет в лодку, вежливо отстранит хозяина рукой, покачает головой, глядя на мотор, на воду в кормовом отсеке, где полощется

старая рукавица или тряпка, култыхается истоптанная консервная банка, заменяющая черпак, прокисшие рыбы потроха по дну растянуты, засохший в щели пучеглазый ерш. Вздохнет выразительно Игнатьич, чего-то крутанет в моторе, вытащит, понюхает и скажет: «Все! Отъездился мотор, в утиль надо сдавать». Либо оботрет деталь, почистит, отверткой ткнет в одно, в другое место и коротко бросит: «Заводи!» – перепрыгнет в свою лодку, достанет мыло из карманчика лодки, пластмассовую щетку, руки помоеет и тряпицей их вытрет. И никакого магарыча ему не надо. Если пьет Игнатьич, то только на свои и свое, курить совсем не курит. В детстве, говорит, баловался, потом – шабаш – для здоровья вредно.

– Чем тебя и благодарить, Игнатьич?

– Благодарить? – усмехнется Игнатьич. – Ты бы лучше в лодке прибрался, сам обиходился, руки с песком да с мылом оттер. Чисто чухонец, прости Господи! – Оттолкнется веслом Игнатьич, шевельнет шнурок – и готово дело – только его и видели! Летит дюралька вдаль, усы на стороны, из-за поворота иль из-за острова еще долго слышен голосок, и, пока не умолкнет в просторах нежный звон мотора, полорото¹ торчит рыбак среди лодки и удрученно размышляет: в одной деревне родились, в одной школе учились, в одни игры играли, одним хлебом вскормлены, а поди ж ты!.. «Шшоткой руки! С мылом! Шшотка сорок копеек стоит, мыло шешнадцать!»

И примется хозяин лодки со вздохом наматывать шнур на скользкий от бензина и копоти маховик, с некоторой пристыженностью и досадой в душе на свою неладность, а если прямо сказать – на недоделанность. ...

Само собой, ловил Игнатьич рыбу лучше всех и больше всех, и это никем не оспаривалось, законным считалось, и завидовать никто ему не завидовал, кроме младшего Утробина, который всю жизнь чувствовал себя на запятках у старшего брата, а был с мозглятинкой – гнильцой самолюбия, не умел и не хотел скрывать неприязни к брату и давно уже, давно они отурились друг от друга, встречались на реке да по надобности – в дни похорон, свадеб, крестин. Игнатьич имел лучший в поселке дом, небольшой, зато самый красивый, с верандочкой, с резными наличниками, с весело выкрашенными ставенками, с палисадником под окнами, в котором росли малина, черемуха, цветки ноготки, мохнатые маки и неизвестные здешнему народу шаровидные цветы, корни которых похожи на брюковки. Привезла их из Фрунзе и приучила расти в суровом чушанском климате жена Игнатьича, работавшая бухгалтером на одном с мужем предприятии.

Слух был, что у Игнатьича лежит на книжке семьдесят тысяч старыми. Игнатьич слухи эти не опроверг, болтливую работницу сберкасы, выдавшую «тайну

вклада», не одернул, но счет свой перевел в Енисейск. И притихла работница сберкасы, старалась на улице с Игнатьичем не встречаться, если разминуться все же не удавалось, опускала глаза и, торопливо пробегая, навеличивала: «Здрасте, Зиновий Игнатьич!»

У Игнатьича стояло возле Опарихи три конца. Чуть на отшибе от фарватера, чтоб не получилось, как у Куклина, не нашел бы темной осенней ночью лодку нос парохода и не клюнул бы ее. Однако и в сторонке от стрежи дивно брал стерлядей Игнатьич. Младший братан – чеченская каторжная рожа – окружал концы старшего брата своими концами. Сокрушенно покачав головой, Игнатьич поднимал тяжелые якорницы, переставлял самолovy выше по реке и снова брал рыбу уловисто.

Командор не отступал, давил братца и таки вытеснил его за Золотую каргу, почти «в поле чисто». И отступился, полагая, что теперь-то братец шиш обрыбится. Но на новом месте пошла на самолovy Игнатьича стерлядь хотя и реже, зато самая отборная, мельче килограмма, считай, не попадалось. И тронуло суеверные души чалдонов подозрение: «Слово знает!» Командор увидел как-то лодку брата, самосплавом идущую по реке, и покажись ему, что старший ехидно усмехнулся. Командор схватил ружье, щелкнул курками. Игнатьич побледнел, подобрался. «Опусти ружье, молокосос! В тюрьме сгною...» – «Не-на-ави-и-ижу-у-у! – взвыл Командор и, отбросив ружье, затопал сапогами, топтал рыбу так, что хрястало под подошвами: – Сгинь! Пропади! Застрелю!..» – «Хар-рош! Ох, хар-р-рош! Ни ума, ни закliku, как говорится! Не зря мать-покойница каялась, не зря, что в зыбке не прикинула тебя подушкой...» – Игнатьич плюнул и умчался не оглядываясь.

Но даже молчаливая фигура старшего Утробина за рулем – вызов Командору, скорготал он зубами, клялся про себя нащупать самолovy очесливого братца и осадой, измором, нахрапом ли выжить его с реки или загнать в такой угол, где ерш – и тот не водится.

До войны в низовьях Енисея серединой лета эвенки, селькупы и нганасаны² ставили по берегу чумы и ловили подпусками – переметами красную рыбу, наживляя на уды кусочки подкопченных над очагами вьюнов. Очень лакомые, видать, эти кусочки, коли дурило-осетрище хватает их вместе с почти голым крючком. К цевью уд бойе³ всегда навязывали тряпочки, берестинки, ленточки. Но они везде и всюду любят делать украшения, и на одежду свою нашивают всякую всячину, и на обувь, однако из-за тряпочек этих, из-за нюха ль совершенно верного брали они рыбу центнерами. Наезжие артельщики, по сезонному договору промысляющие рыбу, возле тех же песков или островов паслись, но возьмут двух-трех осетришек, стерляди на варю – и вся добыча. И

тогда, переломив стыд и сердце, начинали они притираться своими наплавами к снастям бое. «Почто так делаеш? Рыпы плават мноко. Засем по реке колесиш, засем снасти путай!?» Кочевали с места на место бое, теряя дорогое промысловое время, но рыбу брали и брали, а наезжие, тика в тiku бросившие переметы туда, где рыбачили инородцы, вынали голые крючки.

И таким-то дубакам, как в Чуши рекут наезжих хапуг, уподобился местный житель, исконный рыбак, да еще и руку поднял на человека, да и не просто на человека, на брата, да и не просто руку – ружье! Поселок упивался скандалом, перемещал новость со двора во двор, катил ее колесом.

Жена Командора глаз не казала на улицу.

– Ты че, совсем уж залил оловянные шары! – наступала она на мужа. – Совсем выволчился! Мало тебе дочери, кровинки! Брата родного свести со свету готов! Давай уж всех нас заодно...

В прежнее время за такую дерзость он бы искуделил супругу, исполосовал бы так, что до прощенного дня хватило, но после гибели Тайки вызубилась она, потеряла всякий страх, чуть что – прет на него всем корпусом, тюрьмой грозит, глаза аж побелеют, щеки брюзгло дрожат, голова трясется – чует баба: свергнут грозный чеченец в самом себе, добивает, дотаптывает, стерва.

И отправился на поклон к брату младший Утробин. Через дорогу плелся будто через тюремный двор. Игнатьич дрова колол, издали приметил брата, задом к нему поворотился, еще старательней половинил березовые чурки. Командор кашлянул – брат дрова колет, из-за тюлевой занавески в окно встревоженно выглядывала пухленькая, меднорожая жена Игнатьича в легоньком, кружевами отделанном халатике. Взять бы за этот халат да теремок подпалить – крашенный-то эк пластал бы! Командор сдавил коричневыми лапищами штакетник так, что вот-вот серу из дощечек выжмет.

– Пьяный был дак...

Игнатьич воткнул топор, повернулся, кепку поправил:

– А пьяному, что ли, закон не писан? – помолчал и словно в школе принялся поучать: – Не по-людски ведешь себя, брательник, не по-людски. Мы ведь родня как-никак. Да и на виду у людей, при должностях...

Командор с детства всяких поучителей переносить не мог, ну просто болел нутром при одной только попытке со стороны людей чего-то выговорить ему, подсказать, сделать назидание. Отволохай, отлупи, рожу всю растворожь, но не терзай словами. И ведь знает, знает характер младшего старший брат, но,

видишь ты, в кураж впал и не повинную голову сечет, а кишки перепиливает, перегрызает, можно сказать. «Ну-ка, давай, давай! Ты у нас наречистый, ты у нас громкой! Покажи свою разумность, выставь мою дурь напоказ. Баба твоя ухо наострила. Хлебат всеми дырьями, какие у ей есть, слова твои кисельные. То-то завтра в конторе у ей работы будет, то-то она потешится, то-то потрясут мою требуху, мои косточки служащие дамочки!»

И ведь вот что занятней всего – говорит-то старший брат путем все, в точку. И насчет населения поселка, которому только и надо, чтоб братья в топоры. Потеха! Развлечение! И насчет работы – симут с должности капитана, коли пьянствовать не бросит. И насчет промысла темного, хитрого, который надо союзно вести – Куклин-чудотворец завещал, – голимая все правда, но вот вроде как близирничает братец, спектакль бесплатный устраивает, тешит свою равномерную душу, вот-вот и Тайку, пожалуй помянет. Тогда не вынести Командору – топор выхватит...

Командор скрипнул зубами, махнул у лица рукой, словно кого отлепляя, и скорее домой подался, и тоже взялся колоть дрова на зиму, да с такой силой крушил дерево, что которые поленья аж через заплот перелетали, и кто-то крикнул с улицы: «Пли!», баба заругалась: «Эко, эко лешаки-то давят! Не рабливат, не рабливат, возьмется, дак и правда што как на войне!..» В работе Командор немного разрядился, отошел, мысли в нем выпрямились, не клубились в башке, не путались, разума не затемняли. «Вечно так не будет, – с каким-то непривычным для него, тоскливым спокойствием решил он, – где-то, на чем-то, на какой-то узкой тропинке сойдемся с братцем так, что не разойтись...»

В студеный осенний морок вышел Игнатьич на Енисей, завис на самолочках. Перед тем как залечь на ямы, оцепенеть в долгой зимней дремотности, красная рыба жадно кормилась окуклившимся мормышем, ошивалась, как нынешние словотворцы говорят, возле подводных каменных гряд, сытая играла с пробками и густо вешалась на крючья.

С двух первых самолочков Игнатьич снял штук семь-десять стерлядей, заторопился к третьему, лучше и уловистей всех стоящему. Видно, попал он им под самую каргу, а это дается уж только мастерам высшей пробы, чтоб на грядку самое не бросить – зависнет самолоч, и далеко не сплыть – рыба проходом минует самолоч. Чутье, опыт, сноровка и глаз снайперский требуются. Глаз острится, нюх точится не сам собою – с малолетства побратайся с водою, постынь на реке, помокни и тогда уж шарься в ней, как в своей кладовке...

К третьему концу Игнатьич попал затемно, ориентир на берегу – обсеченная по маковку елка, так хорошо видная темной колоколенкой даже на жидком свету, уперлась в низкие, брюхатые тучи, мозглый воздух застелил берег, река,

жестяно и рвано отблескивающая в ночи, ломала и скрадывала расстояние. Пять раз заплывал рыбак и тянул кошку по дну реки, времени потерял уйму, промерз вроде бы до самых костей, но зато, лишь подцепил и приподнял самолов, сразу почувствовал: на нем крупная рыбина!

Он не снимал стерлядь с крючков, а стерляди, стерляди!.. Бурлила, изогнувшись в калач, почти на каждой уде стерлядка, и вся живая. Иные рыбины отцеплялись, уходили, которая сразу вглубь, которые подстреленно выбрасывались и шлепались о воду, клевали острием носа борт лодки – у этих поврежден спинной мозг, визига проткнута, этой твари конец – с порченным позвоночником, с проткнутым воздушным пузырем, с порванными жабрами рыба не живет. Налим, на что крепкущая скотина, но как напорется на самоловные уды – дух из него вон и кишки на телефон.

Шла тяжелая, крупная рыбина, била по тетиве редко, уверенно, не толкалась попусту, не делала в панике тычков туда-сюда. Она давила вглубь, вела в сторону, и чем выше поднимал ее Игнатьич, тем грузнее она делалась, остойчивей упиралась. Добро, хоть не делала резких рывков – щелкают тогда крючки о борт, ломаются спичками, берегись, не зазевайся, рыбак, – цапнет удой мясо иль одежду, ладно, крючок обломится, ладно, успеешь схватиться за борт, пластануть ножом капроновое коленце, которым прикреплена к хребтовине самолова уда, иначе...

Незавидная, рискованная доля браконьера: возьми рыбу да при этом больше смерти бойся рыбнадзора – подкрадется во тьме, сцапает – сраму наберешься, убытку не сочтешь, сопротивляться станешь – тюрьма тебе. На родной реке татем живешь и до того выдрессировался, что ровно бы еще какой, неведомый, дополнительный орган в человеке получился – вот ведет он рыбу, болтаясь на самоловном конце, и весь в эту работу ушел, азартом захвачен, устремления его – взять рыбу, и только! Глаза, уши, ум, сердце – все в нем направлено к этой цели, каждый нерв вытянут в ниточку, через руки, через кончики пальцев припаян рыбак к тетиве самолова, но что-то иль кто-то там, повыше живота, в левой половине груди живет своей, отдельной жизнью, будто пожарник, несет круглосуточно неусыпное дежурство. Игнатьич с рыбиной борется, добычу к лодке правит, а оно, в груди-то, ухом поводит, глазом недреманным тьму ощупывает. Вдали огонек мелькнул, оно уж трепыхнулось: какое судно? Опасность от него? Отцепляться от самолова? Пускать рыбину вглубь? А она, живая, здоровенная, может изловчиться и уйти. Напряглось все в человеке, поредели удары сердца, слух напряжился до звона, глаз силится быть сильнее темноты, вот-вот пробьет тело током, красная лампочка внутри заморгает, как в пожарке: «Опасность! Опасность! Горим! Горим!»

Пронесло! Грузовая самоходка, похрюкивая, будто племенной пороз со свинофермы Грохотало, прошла серединой реки. Следом грустный кораблик неспешно волокся, музыка на нем играла однотонная, протяжная, на вой метели похожая, и под эту музыку на верхней, слабо освещенной палубе умирали три парочки, плотно сцепившись перед кончиной и уронив друг дружке бессильные головы на плечи. «Красиво живут, – Игнатьич даже приостановил работу, – как в кино!»

В этот миг заявила о себе рыбина, пошла в сторону, защелкали о железо крючки, голубые искорки из борта лодки высекло. Игнатьич отпрянул в сторону, стравливая самолов, разом забыв про красивый кораблик, про парочки, не переставая, однако, внимать ночи, сомкнувшейся вокруг него. Напомнив о себе, как бы разминку сделав перед схваткой, рыбина унялась, перестала диковать и только давила, давила вниз с тупым, непоколебимым упрямством. По всем повадкам рыбы, по грузному, этому слепому давлению во тьму глубин угадывался на самолове осетр, большой, но уже умаянный.

За кормой взбурлило грузное тело рыбины, вертанулось, забунтовало, разбрасывая воду, словно лохмотья горелого, черного тряпья. Туго натягивая хребтину самолова, рыба пошла не вглубь, вперед пошла на стрежь, охлестывая воду и лодку оборвышами коленцев, пробками, удами, ворохом волоча скомканных, умаянных стерлядей, стряхивая их с самолова. «Хватил дурило воздуху. Забусел!» – мгновенно подбирая слабинку самолова, думал Игнатьич и увидел рыбину возле борта лодки. Увидел и опешил: черный, лаково отблескивающий сутунок со вкось, не заподлицо, обрубленными сучьями; крутые бока, решительно означенные остриями плащей, будто от жабер до хвоста рыбина опоясана цепью бензопилы. Кожа, которую обминало водой, щекотало нитями струй, прядущихся по плащам и свивающихся далеко за круто изогнутым хвостом, лишь на вид мокра и гладка, на самом же деле ровно бы в толченом стекле, смешанном с дресвою.

Что-то редкостное, первобытное было не только в величине рыбы, но и в формах ее тела, от мягких, безжильных, как бы червячных, усов, висящих под ровно состругнутой внизу головой, до перепончатого, крылатого хвоста – на доисторического ящера походила рыбина, какой на картинке в учебнике по зоологии у сына нарисован.

Течение на стрежи вихревое, рваное. Лодку шевелило, поводило из стороны в сторону, брало струями на отур, и слышно было, как скрежещут о металл рыскающей дюральки плащи осетра, сточенные, закругленные водой. Летошний осетр еще и осетром не называется, всего лишь костерькой, после – карышем или кастрюком, похож он на диковинно растопыренную шишку иль на

веретенце, по которому торчат колючки. Ни вида, ни вкуса в костерке, и хищнику никакому не слопать: распорот костерка – проткнет утробу. И вот, поди ж ты, из остроносой колючки этакий боровище вырастает! И на каком питанье-то? На мормыше, на козявках и вьюнцах. Ну, не загадки ли природы?!

Совсем где-то близко закричал коростель. Игнатьич напрягся слухом – вроде как на воде крикает? Коростель – птица долгоногая, бегучая, сухопутная и летная, давно пора ей убежать в теплую сторону. А вот поди ж ты, крикает. На близком слуху – вроде как под ногами. «Не во штанах ли у меня закрикало?!» Игнатьич хотел, чтобы веселые, несколько даже ернические шуточки сняли с него напряжение, вывели бы из столбняка. Но легкое настроение, которого он желал, не посетило его, и азарта, того дикого азарта, жгучей, все поглощающей страсти, от которой воеет кость, слепнет разум, тоже не было. Наоборот, вроде бы как обмыло теплыми, прокислыми щами там, слева, где несло дежурство оно, недреманное ухо. Рыба, а это у нее коростелем скрипел хрящатый рот, выплевывала воздух, долгожданная, редкостная рыба вдруг показалась Игнатьичу зловещей.

«Да что же это я? – поразился рыбак, – ни Бога ни черта не боюсь, одну темную силу почитаю... Так, может, в силе-то и дело?» – Игнатьич захлестнул тетиву самолова за железную уключину, вынул фонарик, воровато, из рукава осветил им рыбину с хвоста. Над водою сверкнула острыми кнопками круглая спина осетра, изогнутый хвост его работал устало, настороженно, казалось, точат кривую татарскую саблю о каменную черноту ночи. Из воды, из-под костяного панциря, защищающего широкий, покатый лоб рыбины, в человека всверливались маленькие глазки с желтым ободком вокруг томных, с картечины величиною, зрачков. Они, эти глазки, без век, без ресниц, голые, глядящие со змеиной холодностью, чего-то таили в себе.

Осетр висел на шести крючках. Игнатьич добавил ему еще пяток – боровина даже не дрогнул от острых уколов, просекших сыромятно-твердую кожу, лишь пополз к корме, царапаясь о борт лодки, набирая разгон, чтобы броситься по туго в него бьющей воде, пообрывать поводки самолова, взять на типок⁴ тетиву, переломать все эти махонькие, ничтожные, но такие острые и губительные железки.

Жабры осетра захлопали чаще, заскрипели решительней. «Сейчас пойдет!» – похолодел Игнатьич. Не всем умом, какой-то его частью, скорее опытом он дошел – одному не совладать с таким чудищем. Надо засадить побольше крючков в осетра и бросить конец – пусть изнемогает в глуби. Прискачет младший братец на самоловы, поможет. Уж в чем, в чем, а в лихом деле, в боренье за добычу не устоит, пересилит гордыню. Совхозная самоходка ушла за

вырубленной в Заречье капустой, и, пока судно разгрузит овощ, пока затемняет, Командор к Опарихе не явится.

Надо ждать, жда-ать! Ну а дождешься, так что? Делить осетра? Рубить на две, а то и на три части – с братцем механик увяжется, этакий, на бросового человечешку Дамку похожий обормот. В осетре икры ведра два, если не больше. Икру тоже на троих?! «Вот она, вот она, дрянь-то твоя и выявилась! Требуха-то утробинская с мозглятинкой, стало быть, и вывернулась!..» – с презрением думал о себе Игнатыч.

Кто он сейчас? Какой его облик вылупается? Лучше Дамки, недобитого бандеровца Грохотало или младшего братца? Все хапуги схожи нутром и мордой! Только иным удастся спрятать себя, притаиться до поры до времени, но накатывает случай, предел жизни настигает, как говаривал покойный Куклин, и сгребает всех в кучу – потом одного по одному распределяет на места. Кто держится на своих собственных ногах, живет своим умом, при любом соблазне хлебает под своим краем, не хватая жирных кусков из общего котла, характер свой на дешевку не разменивает, в вине себя не топит, пути своей жизни не кривит – у того человека свое отдельное место в жизни и на земле, им заработанное и отвоеванное. Остальное все в хлам, в утиль, на помойку! «Ах, умница-разумница! – усмехнулся Игнатыч, – все-то ты разумеешь, все-то тямлишь! Игрунчик! Докажи, каков рыбак?» – раззуживал, распалял самого себя старший Утробин.

Чалдонская настырность, самолюбство, жадность, которую он почел азартом, ломали, корежили человека, раздирали на части.

– Не трожь! Не тро-о-ожь! – остепенял он себя, – не осилить!..

Ему казалось, если говорить вслух, то как бы со стороны кто-то с непритухшим разумом глаголет, и от голоса его возможно отрезветь, но слова звучали отдельно, далеко, глухо. Лишь слабый их отзвук достигал уха ловца и совсем не касался разума, занятого лихорадочной работой, – там планировались действия, из нагромождений чувств выскребалась деловитость, овладевая человеком, направляла его – он подскребал к себе топорик, острый крюк, чтоб поддеть им оглушенную рыбину. Идти на веслах к берегу он не решался, межень прошла, вода поднялась с осенней завирухи-мокрети, рвет, крутит далеко до берега, и рыба на мель не пойдет, только почувствует осторожным икряным брюхом твердь – такой кордебалет выкинет, такого шороху задаст, что все веревочки и уды полетят к чертям собачьим.

Упускать такого осетра нельзя. Царь-рыба⁵ попадается раз в жизни, да и то не всякому Якову. Дамке отродясь не попадала и не попадется – он по реке-то не

рыбачит, сорит удами...

Игнатъич вздрогнул, нечаянно произнеся, пусть и про себя, роковые слова – больно уж много всякой всячины наслушался он про царь-рыбу, хотел ее, богоданную, сказочную, конечно, увидеть, изловить, но и робел. Дедушко говаривал: лучше отпустить ее, незаметно так, нечаянно будто отпустить, перекреститься и жить дальше, снова думать об ней, искать ее. Но раз произнеслось, вырвалось слово, значит, так тому и быть, значит, брать за жабры осетрину, и весь разговор! Препоны разорвались, в голове, в сердце твердость – мало ли чего плели ранешные люди, знахари всякие и дед тот же – жили в лесу, молились колесу...

«А-а, была не была!» – удало, со всего маху Игнатъич жажнул обухом топора в лоб царь-рыбу и по тому, как щелкнуло звонко, без отдачи гукнуло, догадался – угодило вскользь. Надо было не со всей дурацкой силы бить, надо было стукнуть коротко, зато поточнее. Повторять удар некогда, теперь все решалось мгновениями. Он взял рыбину крюком на упор и почти перевалил ее в лодку. Готовый издать победный вопль, нет, не вопль – он ведь не городской придурок, он от веку рыбак, просто тут, в лодке дать еще разок по выпуклому черепу осетра обухом и рассмеяться тихо, торжественно, победно.

Вдох, усилие – крепче в борт ногою, тверже упор. Но находившаяся в столбняке рыба резко вертанулась, ударилась об лодку, громыхнула, и черно поднявшимся ворохом не воды, нет, комьями земли взорвалась река за бортом, ударило рыбака тяжестью по голове, дагнуло на уши, полоснуло по сердцу. «А-ах!» – вырвалось из груди, как при доподлинном взрыве, подбросившем его вверх и уронившем в немую пустоту. «Так вот оно как, на войне-то...» – успел он еще отметить. Разгоряченное борьбой нутро оглушило, стиснуло, ожгло холодом.

Вода! Он хлебнул воды! Тонет!

Кто-то тащил его за ногу в глубину. «На крючке! Зацепило! Пропал!» – и почувствовал легкий укол в голень – рыба продолжала биться, садить в себя и в ловца самоловные уды. В голове Игнатъича тоскливо и согласно, совсем согласно зазвучала вялая покорность. «Тогда что ж... Тогда все...» Но был ловец сильным мужиком, рыба выдохшейся, замученной, и он сумел передолжить не ее, а сперва эту вот, занимающуюся в душе покорность, согласие со смертью, которое и есть уже смерть, поворот ключа во врата на тот свет, где, как известно, замки для всех грешников излажены в одну сторону: «у райских врат стучаться бесполезно...»

Игнатъич выбил себя наверх, отплюнулся, хватил воздуха, увидел перед глазами паутинку тетивы, вцепился в нее и уже по хребтовине тетивы

подтянулся к лодке, схватился за борт – дальше не пускало – в ноги воткнулось еще несколько уд спутанного самолова. Очумелая рыба грузно ворочалась на ослабевшем конце, значит, сдвинула становую якорницу, увязывала самолов, садила в себя крючок за крючком, и ловца не облетало. Он старался завести ноги под лодку, плотнее прильнуть к ее корпусу, но уды находили его, и рыба, хоть и слабо, рывками, ворочалась во вспененной саже, взблескивая пилою спины, заостренной мордой, будто плугом, вспахивала темное поле воды.

«Господи! Да разведи ты нас! Отпусти эту тварь на волю! Не по руке она мне!» – слабо, без надежды взмолилсяловец. Икон дома не держал, в Бога не веровал, над дедушкиными наказаниями насмеялся. И зря. На всякий, на хоть бы вот на такой, на крайний случай следовало держать иконку, пусть хоть на кухоньке, в случае чего – на покойницу мать спереть можно было – завещала, мол...

Рыба унялась. Словно бы ошупью приблизилась к лодке, навалилась на ее борт – все живое к чему-нибудь да жметесь! Ослепшая от удара, отупевшая от ран, надранных в теле удами и крюком-подцепом, она щупала, щупала что-то в воде чуткими присосками и острием носа уткнулась в бок человеку. Он вздрогнул, ужаснулся, показалось, рыба, хрустя жабрами и ртом, медленно сжевывала его заживо. Он попробовал отодвинуться, перебираясь руками по борту накренившейся лодки, но рыба продвигалась за ним, упрямо нащупывала его и, ткнувшись хрящом холодного носа в теплый бок, успокаивалась, скрипела возле сердца, будто перепиливала над реберье тупой ножовкой и с мокрым чавканьем вбирала внутренности в раззявленный рот, точно в отверстие мясорубки.

И рыба, и человек слабели, истекали кровью. Человечья кровь плохо свертывается в холодной воде. Какая же кровь у рыбы? Тоже красная. Рыбья. Холодная. Да и мало ее в рыбе. Зачем ей кровь? Она живет в воде. Ей греться ни к чему. Это он, человек, на земле обитает, ему в тепло надобно. Так зачем же, зачем перекрестились их пути? Реки царь и всей природы царь – на одной ловушке. Караулит их одна и та же мучительная смерть. Рыба промучается дольше, она у себя дома, и ума у нее не хватит скорее кончить эту волюнку. А у него ума достанет отпустить от борта лодки. И все! Рыба одавит его вглубь, затреплет, истычет удами, поможет ему...

«Чем? В чем поможет-то? Сдохнуть? Окочуриться? Не-ет! Не дамся, не да-а-амся!..» – Ловец крепче сжал твердый борт лодки, рванул из воды, попробовал обхитрить рыбу, с нахлынувшей злостью взняться на руках и перевалиться за такой близкий борт такой невысокой лодки!

Потревоженная рыба раздраженно чавкнула ртом, изогнулась, повела хвостом, и тут же несколько укусов, совсем почти неслышных, комариных, щипнуло ногу рыбака. «Да что же это такое!» – всхлипнул Игнатьич, обвисая. Рыба тотчас

успокоилась, придвинулась, сонно ткнулась уже не в бок, а под мышку ловца, и оттого, что не было слышно ее дыхания, слабо шевелилась над ней вода, он притаенно обрадовался: рыба засыпает, утомило ее воздухом, истекла она кровью, выбилась из сил в борьбе с человеком, вот-вот опрокинется вверх брюхом.

Он, затихнув, ждал, чувствуя, что и сам погружается в дрему.

Словно ведая, что они повязаны одним смертным концом, рыба не торопилась разлучаться с ловцом и с жизнью, рулила хвостом, крыльями, удерживая себя и человека на плаву, работала жабрами, и чудился человеку убаюкивающий скрип сухого очепа зыбки. Морок успокоительного сна накатывал на человека, утишая его тело и разум.

Зверь и человек, в мор и пожары, во все времена природных бед, не раз и не два оставались один на один – медведь, волк, рысь – грудь в грудь, глаз в глаз, ожидая смерти иной раз много дней и ночей. Такие страсти, ужасы об этом сказывались, но чтобы повязались одной долей человек и рыба, холодная, туполобая, в панцире плащей, с желтенькими, восково плавящимися глазками, похожими на глаза не зверя, нет – у зверя глаза умные, а на поросычьи, бессмысленно-сытые глаза – такое-то на свете бывало ль?

Хотя на этом свете все и всякое бывало, да не все людям известно. Вот и он, один из многих человек, обессилеет, окоченеет, отпустится от лодки, уйдет с рыбой в глубь реки, будет там болтаться, пока коленца не отогреют. А коленца-то капроновые, их до зимы хватит! И кто узнает, где он? Как он кончился? Какие муки принял? Вон старик-то Куклин года три назад где-то здесь же, возле Опарихи, канул в воду, и с концами. Лоскутка не нашли. Вода! Стихия! В воде каменные гряды, расщелья, затащит, втолкнет куда...

Однажды он видел утопленника. Тот на дне реки лежал, подле самого берега. Выпал, должно быть, с парохода, почти к суше прибился, да не знал того и сдался. А может, сердце отказало, может, пьяный был, может, и другое что стряслось – не выпросишь. Глаза утопленника, подернутые свинцовой пленкой, пленкой смерти, до того были огромны и круглы, что не вдруг и верилось, будто человечьи то глаза. Разгляделся Игнатич, съежился – так велики, так уродливо вывернуты глаза утопшего оттого, что рыбка-мелочишка выщипала ресницы, веки обсосала, и ушли рыбешки под кругляши глаз. Из ушей и ноздрей человека торчали пучками хвосты сладко присосавшихся к мясу налимишек и вьюнов, в открытом рту клубились гальяны.

– Не хочу-у! Не хочу-у-у-у! – дернулся, завизжал Игнатъич и принялся дубасить рыбину по башке. – Уходи! Уходи! Уходи-и-и-и!

Рыба отодвинулась, грузно взбурлила воду, потащив за собой ловца. Руки его скользили по борту лодки, пальцы разжимались. Пока колотил рыбину одной рукой, другая вовсе ослабела, и тогда он подтянулся из последних сил, достал подбородком борт, завис на нем. Хрустели позвонки шеи, горло сипело, рвалось, однако рукам сделалось полегче, но тело и особенно ноги отдалились, чужими стали, правую ногу совсем не слышать.

И принялся ловец уговаривать рыбу скорее умереть.

– Ну что тебе! – дребезжал он рваным голосом, с той жалкой, притворной лестью, которую в себе не предполагал, – все одно околеешь, – подумалось: вдруг рыба понимает слова! Поправился: – Уснешь. Смирись! Тебе будет легче, и мне легче. Я брата жду, а ты кого? – и задрожал, зашлепал губами, гаснущим шепотом зовя: – Бра-ате-ель-ни-и-ик!..

Прислушался – никакого отзвука. Тишина. Такая тишина, что собственную душу, сжавшуюся в комок, слышно. И опять ловец впал в забытие. Темнота сдвинулась вокруг него плотнее, в ушах зазвенело, значит, совсем обескровел. Рыбу повернуло боком – она тоже завяла, но все еще не давала опрокинуть себя воде и смерти на спину. Жабры осетра уже не крикали, лишь поскрипывали, будто крошка короед подтачивал древесную плоть, закислевшую от сырости под толстой шубой коры.

На реке чуть посветлело. Далекое небо, луженное изнутри луной и звездами, льдистый блеск которого промывался меж ворохами туч, похожих на торопливо сгребенное сено, почему-то не сметанное в стога, сделалось выше, отдаленней, и от осенней воды пошло холодное свечение.

Наступил поздний час. Верхний слой реки, согретой слабым солнцем осени, остудило, сняло, как блин, и бельмастый зрак глубин со дна реки проник наверх.

Не надо смотреть на реку. Зябко, паскудно на ней ночью. Лучше наверх, на небо смотреть.

Вспомнился покос на Фетисовой речке, отчего-то желтый, ровно керосиновым фонарем высвеченный или лампадкой. Покос без звуков, без движения какого-либо и хруста под ногами, теплого, сенного хруста. Среди покоса длинный зачесанный зарод с острием жердей, торчащих по полого осевшему верху. Почему же все желтое-то? Безголосое? Лишь звон густеет – ровно бы под каждым стерженьком скошенной травы по махонькому кузнецу утаилось, и без

передыху звонят они, заполняя все вокруг нескончаемой, однозвучной, усыпляющей музыкой пожухлого, вялого лета. «Да я же умираю! – очнулся Игнатич. – Может, я уж на дне? Желто все...»

Он шевельнулся и услышал рядом осетра, полусонное, ленивое движение его тела почувствовал – рыба плотно и бережно жалась к нему толстым и нежным брюхом. Что-то женское было в этой бережности, в желании согреть, сохранить в себе зародившуюся жизнь.

«Да уж не оборотень ли это?!»

По тому, как вольготно, с сытой леностью подремывала рыба на боку, похрустывала ртом, будто закусывая пластиком капусты, упрямое стремление ее быть ближе к человеку, лоб, как бы отлитый из бетона, по которому ровно гвоздем процарапаны полосы, картечины глаз, катающиеся без звука под панцирем лба, отчужденно, однако ж не без умысла вперившиеся в него, бесстрашный взгляд – все-все подтверждало: оборотень! Оборотень, вынашивающий другого оборотня, греховное, человеческое есть в сладостных муках царь-рыбы, кажется, вспоминает она что-то тайное перед кончиной.

Но что она может вспоминать, эта холодная водяная тварь? Шевелит вон щупальцами-червячками, прилипшими к лягушечьей жидкой коже, за усами беззубое отверстие, то сжимающееся в плотно западающую щель, то отрывавшее воду в трубку, рот похож на что-то срамное, непотребное. Чего у нее еще было, кроме стремления кормиться, копаясь в илистом дне, выбирая из хлама козявок?! Нагуливала она икру и раз в году терлась о самца или о песчаные водяные дюны? Что еще было у нее? Что? Почему же он раньше-то не замечал, какая это отвратная рыба на вид! Отвратно и нежное бабье мясо ее, сплошь в прослойках свечного, желтого жира, едва скрепленное хрящами, засунутое в мешок кожи; ряды панцирей в придачу, и нос, какого ни у одной рыбы нет, и эти усы-червяки, и глазки, плавающие в желтушном жиру, требуха, набитая грязью черной икры, какой тоже нет у других рыб, – все-все отвратно, тошнотно, похабно!

И из-за нее, из-за этакой гады забылся в человеке человек! Жадность его обуяла! Померкло, отодвинулось в сторону даже детство, да детства-то, считай, и не было. В школе с трудом и мукой отсидел четыре зимы. На уроках, за партой, диктант пишет, бывало, или стишок слушает, а сам на реке пребывает, сердце дергается, ноги дрыгаются, кость в теле воет – она, рыба, поймалась, идет! Сколь помнит себя, все в лодке, все на реке, все в погоне за нею, за рыбой этой клятой. На Фетисовой речке родительский покос дурниной захлестнуло. В библиотеку со школы не заглядывал – некогда. Был председателем школьного родительского комитета – содвинули, переизбрали – не заходит в школу.

Наметили на производстве депутатом в поссовет – трудяга, честный производственник, и молча отвели – рыбачит втихую, хапает, какой из него депутат? В народную дружину, и в ту не берут, забраковали. Справляйтесь сами с хулиганами, вяжите их, воспитывайте, ему некогда, он все время в погоне. Давят машинами, режут ножами людей, носятся по поселку одичалые пьяницы с ружьями и топорами? Его не достанешь! Ан и достали! Тайку-то, любимицу!..

А-ах ты, гад, бандюга! Машиной об столб, юную, прекрасную девушку, в цвет входящую, бутончик маковый, яичко голубиное – всмятку. Девочка небось в миг последний отца родимого, дядю любимого пусть про себя кликнула. А они? Где были они? Чего делали?

Опять дед вспомнился. Поверья его, ворожба, запуки: «Ты как поймаш, Зиновей, малу рыбку – посеки ее прутом. Сыми с уды и секи, да приговаривай: «Пошли тятю, пошли маму, пошли тетку, пошли дядю, пошли дядину жану!» Посеки и отпускай обратно и жди. Все будет сполнено, как ловец велел». Было, сек прутом рыбину, сперва взаправду, подрост – с ухмылкой, а все же сек, потому что верил во всю эту трахамудрию – рыба попадалась и крупная, но попробуй разбери, кто тут тятя, кто тут дядя и кто дядина жена... Вечный рыбак, лежучи на печи со скрученными в крендель ногами, дед беспрестанно вещал голосом, тоже вроде бы от ревматизма искрученным, перемерзлым: «А ешли у вас, робяты, за душой што есь, тяжкий грех, срам какой, варначество – не вяжитесь с царью-рыбой, попадетса коды – отпушшайте сразу. Отпушшай-те, отпушшайте!.. Ненадежно дело варначье».

Ни облика, ни подробностей жизни деда, ни какой-нибудь хоть маломальской приметы его не осталось в памяти, кроме рыбацких походов да заветов. Этот вот другорядь за сегодня вспомнился. Припекло! Но какой же срам, какое варначество за ним такое страшное, коль так его скрутило?

Игнатьич отпустился подбородком от борта лодки, глянул на рыбину, на ее широкий бесчувственный лоб, бронею защищающий хрящевину башки, желтые и синие жилки-былки меж хрящом путаются, и озаренно, в подробностях обрисовалось ему то, от чего он оборонялся всю почти жизнь и о чем вспомнил тут же, как только попался на самолов, но отжимал от себя наваждение, оборонялся нарочитой забывчивостью, однако дальше сопротивляться окончательному приговору не было сил.

Пробил его крестный час, пришла пора отчитаться за грехи.

...Глашка Куклина, девка на причуды и выдумки гораздая, додумалась однажды вываренный осетровый череп приспособить вместо маски, да еще и лампочку от фонарика в него вделала. Как первый раз в темном зале клуба явилась та

маска, народ едва рамы на себе не вынес. Страх, как блуд, и пугает, и манит. В Чуши с той поры балуются маской малы и велики.

С Глашки-то Куклиной все и начинается.

В сорок втором году на чушанскую лесопилку пригнали трудармейцев – резать доски на снарядные ящики. Команду возглавлял тонкий да звонкий лейтенантик, из госпиталя. С орденом, раненый боевой командир появился в Чуши первый и скромностью никого удивлять не собирался, девок, млеющих перед его красотой и боевыми заслугами, он щелкал, как орехи. Само собой, орлиным своим взором лейтенант не мог обойти видную деваху Глашку Куклину. Где-то в узком месте подзажал он ее, и потекли по Чуши склизкие слухи.

Игнатьич, тогда еще просто Зинка, Зиновий, или Зиновей, как звал его дедушка, за жабы присуху-Глашку и к ответу. На грудь ему Глашка пала: «Сама себя не помнила... Роковая ошибка...» – «Ошибка, значит? Роковая! Хор-рошо-о! Но за ошибку ответ держат! За роковую – двойной!» Виду, однако, кавалер никакого не показал, погуливал, разговорчики с дролей разговаривал, когда и пощупает, но в пределах необходимой вежливости.

Ближе к весне боевого командира из тыла отозвали. Вздохнули мамы с облегчением, улеглись страсти и слухи в поселке. Глашка оживляться начала, а то как не в себе пребывала.

В разлив, в половодье, когда ночи сделались совсем коротки и по-весеннему шатки, птицы пели за околицей и по лугам считай что круглосуточно, молодой кавалер увел Глашку за поскотину, к тонко залитой вешнею водой пойме, прижал девку к вербе, оглоданной козами, зацеловал ее, затискал, рукою полез, куда велели мужики, науськавшие парня во что бы то ни стало расквитаться с «изменщицей». «Что ты, что ты! Нельзя!» – взмолилась Глашка. «Лейтенанту можно?! А я тоже допризывник. Старшим лейтенантом, глядишь, стану!»

Как он Глашке про лейтенанта брякнул, она и руки уронила.

Поначалу-то он забыл и про месть, и про лейтенанта, поначалу он и сам себя худо помнил. Это уж потом, когда пых прошел, когда туман с глаз опал, снова в памяти высветлился лейтенант, чернявый, в сгармошенных сапогах, орден и значок на груди его сверкают, нашивка за фронтовую рану огнем горит! Это как стерпеть? Как вынести ревнивому сердцу? Трусовато оглядываясь, кавалер сделал то, чему учили старшие дружки: поставил покорную девку над обрывистым берегом, отвернул лицом к пойме, спустил с нее байковые штанишки, крашенные домодельной краской, с разномастными, колотыми

вальком, пуговицами, эти пуговицы и запомнились сильнее всего, потому что бедный девичий убор приостановил было пакостные намерения. Но уже хотелось изображать из себя ухажера, познавшего грех, – это придавало храбрости мокрогубому молодцу. Словом, поддал он хнычущей, трясущейся девчонке коленом в зад, и она полетела в воду. Пакостник с мозгой – место выбрал мелкое, чтоб не утонула часом ухажерка, послушал, посмотрел, как белопузой нельмой возится, шлепается на мелководье девчонка, путаясь в исподине, словно в неводе, завывая от холода, выкашливая из себя не воду, а душу, и трусовато посеменил домой.

С той поры легла меж двумя людьми глухая, враждебная тайна.

Отслужив в армии в городе Фрунзе, Зиновий привез с собой жену. Глаха тем временем тоже вышла замуж за инвалида войны, тихого приезжего мужика, который выучился на счетовода, пока валялся в госпитале. Жила Глаха с мужем скромно, растила троих ребят. Где-то в глубине души Игнатий понимал, что и замужество ее, и вежливое «здравствуйте, Зиновий Игнатьевич!», произнесенное Глахой делала руки по швам и скорее пробегала, – все это последствия того надругательства, которое он когда-то над ней произвел.

Бесследно никакое злодейство не проходит, и то, что он сделал с Глахой, чем, торжествуя, хвастался, когда был молокососом, постепенно перешло в стыд, в муку. Он надеялся, что на людях, в чужом краю все быльем порастет, но, когда оказался в армии, так затосковал по родным местам, такой щемящей болью отозвалось в нем прошлое, что он сломался и написал покаянное письмо Глахе.

Ответа на письмо не пришло.

В первый же по приезду вечер он скараулил Глаху у совхозного скотного двора – она работала там дояркой, сказал все слова, какие придумал, приготовил, прося прощения. «Пусть вас Бог простит, Зиновий Игнатьевич, а у меня на это сил нету, силы мои в соленый порошок смололись, со слезами высочились. – Глаха помолчала, налаживая дыхание, устанавливая голос, и стиснутым горлом завершила разговор: – Во мне не только что душа, во мне и кости навроде как пусты...»

Ни на одну женщину он не поднял руку, ни одной никогда больше не сделал хоть малой пакости, не уезжал из Чуши, неосознанно надеясь смирением, услужливостью, безблудьем избыть вину, отмолить прощение. Но не зря говорится: женщина – тварь божья, за нее и суд, и кара особые. До него же, до Бога без молитвы не дойдешь. Вот и прими заслуженную кару, и коли ты хотел когда-то доказать, что есть мужик – им останься! Не раскисай, не хлюпай носом, молитвов своедельных не сочиняй, притворством себя и людей не

обманивай! Прощенья, пощады ждешь? От кого? Природа, она, брат, тоже женского рода! Значит, всякому свое, а Богу – богово! Освободи от себя и от вечной вины женщину, прими перед этим все муки сполна, за себя и за тех, кто сей момент под этим небом, на этой земле мучает женщину, учиняет над нею пакости.

– Прос-сти-итееее... – Не владея ртом, но все же надеясь, что хоть кто-нибудь да услышит его, прерывисто, изорванно засипел он. – Гла-а-а-ша-а-а, прости-и-и. – И попробовал разжать пальцы, но руки свело, сцепило судорогой, на глаза от усилия наплыла красная пелена, гуще зазвенело не только в голове, вроде бы и во всем теле. «Не все еще, стало быть, муки я принял», – отрешенно подумал Игнатий и обвис на руках, надеясь, что настанет пора, когда пальцы сами собой отомрут и разожмутся...

Сомкнулась над человеком ночь. Движение воды и неба, холод и мгла – все слилось воедино, остановилось и начало каменеть. Ни о чем он больше не думал. Все сожаления, раскаяния, боль, муки отдалились куда-то, он утишался в себе самом, переходил в иной мир, сонный, мягкий, покойный, и только тот, что так давно обретался там, в левой половине его груди, под сосцом, не соглашался с успокоением – он никогда его не знал, сторожился сам и сторожил хозяина, не выключая в нем слух. Густой, комариный звон прорезало напористым, уверенным звоном из тьмы – под сосцом в еще не остывшем теле ткнуло, вспыхнуло, человек напрягся, открыл глаза – по реке звучал мотор «Вихрь». Даже на погибельном краю, уже отстраненный от мира, он по голосу определил марку мотора и честолюбиво обрадовался прежде всего этому знанию, хотел крикнуть брата, но жизнь завладела им, пробуждала мысль. Первым ее током он приказал себе ждать – пустая трата сил, а их осталась кроха, орать сейчас. Вот заглушат моторы, повиснут рыбаки на концах, тогда зови – надрывайся.

Волна от пролетевшей лодки качнула посудину, ударила о железо рыбу, и она, отдохнувшая, скопившая силы, неожиданно вздыбила себя, почуяв волну, которая откачала ее когда-то из черной, мягкой икринки, баюкала в дни сытого покоя, весело гоняла в тени речных глубин, сладко мучая в брачные времена, в таинственный час икромета.

Удар. Рывок. Рыба перевернулась на живот, нащупала вздыбленным гребнем струю, взбурлила хвостом, толкнулась об воду, и отодрала бы она человека от лодки, с ногтями, с кожей отодрала бы, да лопнуло сразу несколько крючков. Еще и еще била рыба хвостом, пока не снялась с самолова, изорвав свое тело в клочья, унося в нем десятки смертельных уд. Яростная, тяжело раненная, но не укрощенная, она грохнулась где-то уже в невидимости, плеснулась в холодной

заверти, буйство охватило освободившуюся, волшебную царь-рыбу.

«Иди, рыба, иди! Поживи сколько можешь! Я про тебя никому не скажу!» – молвил ловец, и ему сделалось легче. Телу – оттого, что рыба не тянула вниз, не висела на нем сутунком⁶, душе – от какого-то, еще не постигнутого умом, освобождения.